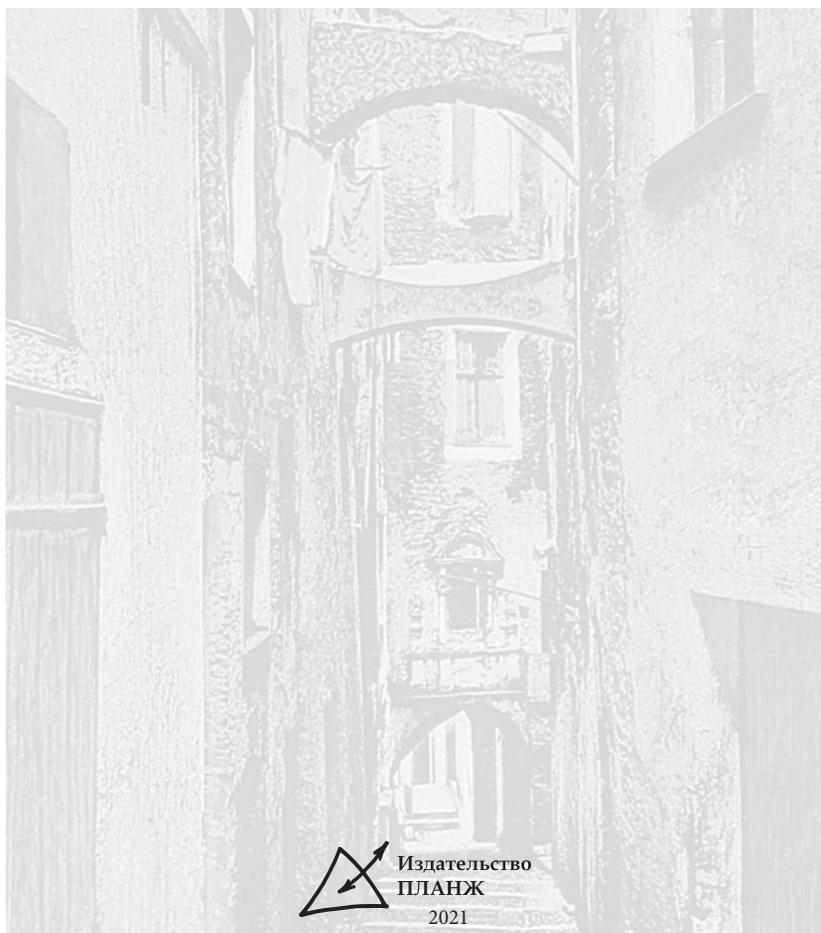


ЛИЛИЕНБЛЮМ

Роман

Борис Лейбов



Издательство
ПЛАНЖ
2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
Л90

ЛИЛИЕНБЛЮМ / Борис Лейбов. — М.: Издательство «ПЛАНЖ»,
2021. — 220 с.

ISBN 978-5-6045678-2-1

«Лилиенблум» — это поток событий и сознаний, пронизывающий жизни нескольких современных людей, разбросанных между Москвой и южным городом у тёплого моря. Люди, как им свойственно, ищут себя и свою любовь, а автор описывает происходящее удивительным языком, который был бы достоин высочайшей похвалы и сам по себе, однако, в нашем случае ещё и представляет читателю сложную захватывающую историю потерь и обретений.

© Борис Лейбов, 2021
© Издательство «ПЛАНЖ», 2021
ISBN 978-5-6045678-2-1

П. И., доктору и другу



I

Мне кажется, я не один, нас двое. Кто-то толкнул в бок, потревожил сон, выкрал жемчужину сновидения из перламутровой раковины, поднял меня со дна. Я уже здесь. Я вспомнил, но можно ещё не открывать глаза, не торопить день. Время под одеялом течёт медленнее, как у глубоководных рыб. Уличный шум — его нет! Ласковый ветерок гладит прохладной рукой пятки. Ноги стоило бы подтянуть к животу, согнуть в коленях и оказать сопротивление раздражителю, но осень, ей не отказать. Это её знакомое прикосновение. Бронзовая кожа припоминает холодок после затяжной жары. По улице сейчас, наверное, перетасовываются выжженные листья. Ну как по улице? По переулку. Нет, не то, мимо. Протяжённость ведь у неё малая. По сорок домов с каждой стороны. Строения малоэтажные, кривые, наивные. Кажется, что белый город построили дети. Нету ни линий, ни правил. Платаны, цари деревьев, — доминанта, вокруг которой выросли песчаные замки. Их не выкорчёвывали, не пилили. Домики складывали в обход их. Где-то настолько тесно, что соседи жмут друг другу руки через окна кухонь. Вторые этажи в разы тяжелее и больше первых и вот-вот раздавят подъезды. Такие дома похожи на ребят, играющих на пляже. Одни сидят на

плечах других и борются до низвержения в воду. Сразу знаешь, кому достанется победа, — не той паре, где крупный мальчик взгромоздился на тонкого, заблуждаясь в том, что сильнейший обязан быть сверху. И да, чудес не бывает, ну или у них просто давно не было свидетелей. Осыпаются игрушечные домики. Волнами гуляют их тощие стены. Нельзя строить беспечно, нужно, как немцы, по-взрослому. Немец меру знает во всём. Собственно, вот и вся душа. Но дом его будет самодовольно наблюдать, как мой кособокий Златопольский переулок крошится, становясь береговой линией.

Но только не моя четырёхэтажная ладья. Её как раз вырастили строгие мужчины с циркулями и лазерными указками. Она спрятана за седыми стволами эвкалиптов. Въезд на парковку похож на крошечный беззубый рот младенца. За папу — ам, и я съезжаю с нашей переулицы (да, вот как она должна зваться!) в подземелье, в прохладную тайну вечно зевающего, раскалённого, белобокого города.

Собираю волю к жизни. Добиваю притаившуюся в сонных мыслях лень и поворачиваюсь на левый бок. Ноги при таком вращении затягивают одеяло, оголяя пятки. Но ничего. Неприятное объяснение надо пережить и выйти в переулицу, пошептаться с октябрём. Обрадоваться безлюдным кафе. Пустым

трамвайчикам. Газетной лавке, без очереди. Булочной, с восстановленными предсезонными ценами. И скамейкам, свободным от курортных туш. Снова удар. В ногу. Бьёт острой коленкой.

— М! М!

Сползаю на пол и тяну спину. Мычание с кровати нарастает. Как же она тут некстати. Почему ночью не сбежала? Утро после страды должно быть одиноким, им нельзя делиться. Первое необжигающее утро, настолько нежное и хрупкое, что любой голос низшего порядка грозитя потопить такое редкое и долгожданное хорошее настроение. Почему всё-таки не сбежала? Так ведь в наручниках! Точно. Отстёгиваю Дарьины руки. Бьёт меня по лицу. Отстёгиваю щиколотки, — вскакивает и тут же неуклюже падает, — видимо, затекли ноги. Поднимается вновь и косолапо бежит в уборную. Шарик-кляп снимает, сидя на унитазе. Он падает и отскакивает от мозаики, и падает снова.

— Урод! — Возмущение, струя, кашель.

Нет, я не урод. При своём праздном образе жизни (попросту — бездельник) я сохранил то тело, которое было задумано природой, живи я в лесу, в постоянном поиске пропитания. Мне сорок пять, и я давно, а может быть, и никогда ничего и никого не стеснялся. В унитазе спустили воду. Зашипел душ. Я сух и жи-

лист, хотя должен быть рыхлым и корпулентным, будь притча о Дориане правдой. Относительно сверстников — высок. Если повернуть шею так, чтобы боковым зрением скользнуть по профилю в зеркале, в ответ посмотрит Иосиф Флавий. Но это я себе льщу. А что плохого в самолести? Дарья входит в спальню, как непогода в планы. Сейчас рванёт. А так хочется промотать эту сценку и остаться наедине с собой.

— Урод, Марк. Я чуть не описалась.

И гроза вдруг проходит стороной, проливаясь грибным дождиком слёз. Молнии не полыхали. Зевс всё проспал.

— Я засужу тебя...

Всхлипывает, причитает, успокаивает саму себя.

— Даша. Вот расписка.

Я показываю ей стандартное согласование процедур. В делах интимных я скрупулёзен и щепетилен. Мне ли не знать, сколько опасностей притаилось в «долине амазонок»? Всё равно, что жизнь алхимика в пуританском селе. Каково быть Давидом на острове Лесбос? Камней в праще на всех не хватит.

— Подавись ею...

— Хорошо. В следующий раз я тебе не позволю.

Вчерашнее платье не мило. Мятое, с пола, оно сидит на ней, как мешок на банановой пальме. Средний палец — мне и громкий хлопок дверью. В доме четыре этажа

и четыре квартиры, и три из них мои. Ранний шум никого не потревожит. Разве что Герца с первого этажа, хотя он уже, верно, трудится. Надо прогнать её духи, летние и весёленькие. Настежь дверь, и окно тоже настежь, и снова под одеяло. Осень ещё немножко подождёт, я же ждал всё лето.

Поутру снилась лошадь. Гнедая, она купалась, затем легла загорать. И загорала. Да! Пляж! Это был не городской пляж. Песок был не белым. Я знаю эту бухту. Она зажата ржавыми скалами. От берега тянется вверх тропа к особняку, скрытому сикоморовой рощей. Дом отца. Прохладный зал из белых плит, высокий и пустой, как крематорий в выходной. Четвёртая стена — стекло. Гостиная не заканчивается, а переходит в малахитовый залив. На стене — картина. Под её тяжёлой рамой — инородное кожаное кресло на крутящемся стержне, вывезенное из кабинета секретаря облисполкома Дзержинского района города Москвы. В нём — маленький плешивый человек. Он повернут спиной к произведению, как старуха-смотрительница картинного зала.

Отец не смотрит на холст, он знает его, как собственную жизнь. Три великолепных здания с французскими балконами, лепниной на уровне первых этажей в виде виноградной лозы. Центральный вход бережно сокрыт белыми колоннами. Вдоль

домов — зелёный сквер, голый и молодой. Деревья ещё не высажены. За сквером — трамвайные пути. Ещё пусты. Небо раннее. Множество людей, счастливых новосёлов, движутся от дома, опережая утро и трамвай, ещё не вышедший из парка, на противоположную сторону. Противоположную в высшем замысле художника-соцоптимиста. Сотни дощатых переходов, косогоры, котлованы, производственные печи, грязь, жар, копоть. Великолепные люди с неподдельной радостью покидают дворцы и идут строить завод.

Живописец дал имя этому движению: «Шоссе Энтузиастов». В детстве, не понимая слова «энтузиаст», я полагал, что это бессмысленный грубый звук. Мы жили в одном из запечатлённых домов, а задолго до меня отец строил этот самый завод, потом руководил им, потом правил, а после продал. Мы уехали жить к морю. Понял ли он, что продал всю свою жизнь, или нет? Деньгами наслаждаться он не умел. Тосковал и, не засиживаясь, умер. Я редко думаю о нём, об этой картине, — может, только по осени. Не перестану дивиться тому, сколько тысяч энтузиастов возводили гиганта, сколько часов жизни потрачено, отдано труду ради того, чтобы я один, вот уже почти тридцать лет спустя, всё тратил и тратил, и тратил, и нежился под одеялом в мыслях о них.

Встаю второй раз. Прибираюсь. Мою кляп жидким мылом, запираю в шкафчик. За окном — крыша отеля «Лилиенблюм». Филиппинка уже выкатила старуху к барной стойке. Надо собираться и не забыть полить боярышник на балконе. Тесный квадратик, спрятанный от переулка листвой. Столик и стул. Здесь могли бы завтракать двое взрослых нормальных людей, строить планы, улыбаться друг другу после удавшейся, на редкость для затяжного партнёрства, ночи. Она бы запрокидывала голову, вытягивая шею. Позволяла бы солнцу опылять её кожу витамином D. Он бы изредка тянул апельсиновый сок и читал какую-нибудь нужную биржевую сводку. Ведь так живут люди, заработавшие на балкон в двухстах шагах от моря? Наверное. У меня в собеседниках — вечнозелёное деревце с алыми, как сердечки мышат, ягодками и клёст, прилетевший на круассан. Он забавно марширует по бортику, заложив фиолетовые крылья за спину, будто озадаченный клерк. Ему недостаёт портфеля. Любуюсь и внезапно задумываюсь: а насколько я советский? Вся эта любовь к птичкам — это хрестоматия первых классов так наследила в душе? Да нинасколько. Новозеландцы, что ли, птиц не любят, или исландцы? У меня всего одна русская черта, насколько я могу судить не со стороны. Сорочку я стягиваю с себя через голову, ленясь расстегнуть

последние две-три пуговицы. В остальном, с носом Маккавея, я органически вписываюсь в уличную сутолоку и не по праву считаюсь знакомыми уроженцем белого города.

Кофе выпит. Студия прибрана. Костюм надет — надет красиво. Галстук обязан быть тонким. Узелок — крошечным. За милую видно увальней с узлами в кулак. О таком всё ясно сразу и навсегда. Белый — то есть как снег за полярным кругом — манжет должен выступать из-под чёрного рукава на сантиметр или два. Запонки и швейцарские часы — к чёрту. Они остаются в музее XX века. На одном стенде с золотыми телефонами. Пиджак расстёгнут во все времена. Ботинки — вот где можно побыть и свободным, и разным, и непредсказуемым. Сегодня выбираю Англию с декоративным каблуком. Охровые. Это моё почтение осени. Зеркало одобряет. Время выйти в улицы. Выхожу.

До «Лилиенблюма» можно добраться тремя способами. Через подземный паркинг, он у нас общий. Отель получил свои четыре из восьми мест, когда застройщик заимствовал какие-то метры лилиенблюмского фундамента. Так я обычно возвращаюсь. По доске. Есть угол на моей крыше, где до крыши «Лилиенблюма» полтора метра, и однажды пьяным я постелил доску, брошенную строителями, и, как

пират, перебрался на чужую сторону. Вышел из-под зелёной сени и взял на abordаж их бар. Герц трясся от возмущения. Грозился отлучить меня от стола. Но старуха была в ладоши: «Bravo, Mark», и Герц стерпел. Самый долгий путь — тот, который я пройду сейчас. Сотня-другая шагов по Златопольскому переулку, мимо кривого ряда домов, завтрак на углу и приблизительно столько же в обратную сторону — по лицевой стороне наших шалых домов. Внешняя сторона торжественна и именуется иначе. Все окна большие, они таращатся на купание белого солнца в бирюзовой воде. Среди соседей «Лиленблюма» — пара однородных миниатюрных гостиниц и два посольства уверенных в себе стран. Жилых домов нет. Есть, конечно, избранные, которые живут в гостиницах, как мы в квартирах, но за долгую жизнь у черты, на стыке суши и моря, они платят страшную цену. Страшно большую. А так ничего особенного, конечно.

Отсчитал сотый шаг. Есть у природы плохая погода. Есть. Это мерзкая дождливая весна, когда подростки и коты издают тревожные звуки по ночам, и лето, смена сатанинского истопника. Последние четыре месяца я выживал, измученный лживыми ночами, чья чернота за окном обманчива. Духота окутывала, как только смолкало дыхание кондиционеров. Про дневное время я и вовсе позабыл. Безжалостный желток

безоблачного неба работает без выходных. Лучи тяжёлые, как молот. Белый цвет домов преобразуется и становится тем белым, на который больно смотреть. Кривые стволы деревьев извиваются в плотном воздухе, поднимающемся от асфальта. По переулкам течёт мираж. И вот закончилось наваждение. Деревья статичны. Мир притих. Собственные шаги раздаются эхом на сотню метров вокруг. Людям спокойно спится в выходное утро. Праздник чужаков окончен, и они далеко в своих настоящих городах и жизнях.

Скамейка. Красный велосипед. Старый белый итальянский автомобиль. Пихта. Коренастый ствол, расчерченный трещинами. Кривой забор, нелепый и неуклюжий. Лишний предмет в городе, где отперто большинство дверей. Замки для чёрного города, для бедняков, для ревнителей вещей, доставшихся потом. По рыхлой стене углового дома течёт ручеёк. Пластиковый шланг болтается под коробом кондиционера мёртвым ужом. Из образовавшейся лужицы пьёт зелёный попугай. У голубей нахватался. Переулок петляет, как тропа, протоптанная детьми в поисках кратчайшего пути к воде.

— Приветствую, Марк!

Кофейня выбита в малоэтажном доме, как пещера в скале. Дом этот конечный и имеет два адреса. Последний — по Златопольскому переулку и первый — по

стороне набережной. На торце бережно сохранили полувековую рекламу: чёрный официант в красном пиджаке подаёт напиток двум юным девушкам. Те прячутся от солнца под белыми зонтами. Все трое улыбаются во весь рот. Зубы негра — белые, большие, они крепче и надежнее. За фигурами — рисованное выгоревшее море и обязательный силуэт чайки. За рекламой, если стоять к ней лицом, море настоящее. Багровая маркиза, неровно закреплённая, даёт косую тень, которой хватает на один столик. В глубине кухни варится кофе, трещит кофемолка, взбивается молоко. Теперь, когда зной отступил, запахи улавливаются проще, воздух движется и разносит их, как консьерж утреннюю почту. За столиком — Фабио. Приятный знакомец.

— Доброе утро, Фабио! — Я сажусь рядом.

Фабио невысок. Ноги его настолько густо засеяны рыжими вьющимися волосками, что было бы неясно, насколько он загорелый, если бы не эпилированные живот, спина и грудь. Портреты, писанные с него, хранятся во многих частных собраниях. Мой любимый — тот, где он стоит в рост, руки в боки, на фоне жалкой тощей лошадки, — вывешен в городской галерее. У него густые нечёсанные волосы, излишне длинные для пятидесятилетнего мужчины. Рыжая с проседью борода — аккуратна, как квадратная ло-

пата. Она занавешивает бычью шею и острый кадык. Над левым соском — наколотый якорь. Такой же в золоте висит под бородой, на «корабельной» цепи. Над рыжими усами — великаньи ноздри. Голубые детские глаза, добрые и увлечённые.

— Я сегодня сделал открытие, Марк!

Фабио носит необычную даже для приморья одежду. В costume его не видел никто и никогда. Сегодня он в чёрных без надписей трусах-шортах. Вытянутые и скрещенные ноги завершаются мокасинами чёрного гробового бархата. На них — золотые ремешки. Последний компонент гардероба — парчовый халат. Он чёрен. Рукава короткие, немного длиннее локтя. Они расшиты золотыми канарейками, серебряными миниатюрными мясорубками и кровавыми котлетами.

— Знаешь, почему местные мальчики не давятся от глубокого минета, а европейцев рвёт?

— Не задумывался.

— Потому что в их языках нет глотательных согласных! Они не тренированы.

Фабио смеётся. Я его не поддерживаю. Шутка не кажется мне смешной. Кого угодно можно счесть скудоумным, если тот смеётся над своим же анекдотом, только не его. Смех его естественный. Он зарождается ещё до сказанного, набирает мощь вовремя — между слов и вырывается в конце, сопровождаемый астма-

тическим свистом. Хохот унялся, и он уже склалбился молча. Обиды на моё равнодушие не было. Допиваем кофе со льдом и встаём. Не знаю, почему, и не помню, как давно Фабио пристал к нашей с «Лилиенблюмом» тоскливой компании, но меня он не тяготит. Ещё он оплачивает моё безделье.

— Рента за сентябрь.

Он передаёт мне чек за отцовский дом. Складываю, прогладив шов несколько раз, и прячу во внутреннем кармане.

— Спасибо! Теперь можно год не работать.

— Марк?!

— А?

— Ты и так не работаешь.

— Точно!

Человек, который организовал два самых закрытых, желанных и таинственных заведения: «Шёпот» и «Слухи», проводил дни со старухой и состарившимся юношей. Фабио насвистывает незамысловатые мелодии. Выходит неплохо. Редкие прохожие дивятся человеку, полы чьего халата треплет ветерок, но явление осени — бóльшая новость для города, и взгляды на Фабио долго не задерживаются. Уже точно не смогу вспомнить, когда и как мы познакомились. Однозначно — пили. По-другому не бывает. Но помню, каким изумительным он показался мне.

«Это человек из другого времени, — подумал я. — Он не принадлежит секулярной современности. Он не то что заплыл за церковные буйки, он в принципе не понимает разницу между плохим и хорошим». «Ваше человечество», — звали его обожатели, те, кто любой ценой старался выслужить вход в «Слухи». Он был их заклинателем. К нему тянулись мужчины и женщины, молодые и старые, бедные и не очень, даже больные; и никому он ничего не давал и был с ними искренен. Он только брал и выпивал их досуха. Пользовался властью их деньгами и отверстиями. Исключением было бесцельное просиживание дней у «Лилиенблюма». Выгоды в нас нет. Может, мы всё-таки друзья? Так получается? Или наше общество даёт ему нечто, что я не могу понять.

— Марк, скажи как музыкант...

— Я не музыкант.

— Музыкант! Не перебивай. Скажи, ты тоже замечал, что прогулка без звукового сопровождения скучна, ну там — дом, за ним — дом, за ним — дерево, и дом, и ресторан, и человек. А когда в наушниках играет что-то торжественное, мир становится фильмом, исполненным смысла. И уже — Дом! Дом! Дерево! Человек! А?

— Я не видел тебя в наушниках.

— Я свищу хорошо. Я в принципе.

— Ну, скорее да, чем нет. Хотя когда тихо, как сегодня, тоже великолепно.

— Согласен.

Четыре белые ступени, и мы в фойе. Отель «Лиленблум» невелик. Четыре этажа, как и моя монолитная ладья. Но «Лиленблум» основателен и коренаст. Конструктивный квадрат с равным количеством круглых окон на торцевой стороне и одинаковой высотой этажей. Лобби простое, как наша провинция, — столики, деревянная стойка регистрации, незамысловатый бар с таким же выбором и один лифт. Стены, обшитые ультрамариновым кретоном.

Официантка Кира протирает кофе-машину. Она зевает, не прикрывая рта.

— Здравствуйте, — автоматически улыбается мне и Фабио.

Кира — не исключение из Кир. К сорока пяти годам я классифицировал своих попутчиц по именам. Так вот, за Кирами слава самая дурная. Большинство Кир поверхностны в суждениях. Они неверные жены. Мелочны и похотливы. Именно похотливы, а не страстны, как Дарьи и Анны, и уж точно не влюбчивы, как Ольги и Марии. Они любят бесконечно долгие поцелуи и имеют кислый вкус. Жадные и ленивые. Все эти качества в Кире, ополаскивавшей сейчас десертные блюда, не проявились ещё в полной мере. Наблюда-

ются только наброски. Она уже спит с управляющим ради обещанной выгоды. Но, как и полгода назад, моет по утрам посуду. Лет через десять, к тридцати, она закирится, окислится и станет полноценной Кирочкой, впору для мужа Виталия.

— Привет, Кирочка. Привет, Андрей.

— Привет, — отвечает мне Андрей.

— Доброе утро, — приветствует он Фабио.

Андрей — консьерж. Славный мальчик. Мой сын. Мы входим в лифт и отправляемся на крышу. Герц противился этому излишку в ремонтной смете. «Можно с четвёртого по лестнице», — убеждал он старуху. Всё зря. Стены побелили, ковролин перестелили, в круглые окна конструктивизма воткнули крестовые рамы, крышу прорубили, заменили лифт. Всё по прихоти старухи. Наступила её последняя осень. Летом от смерти отвлѣк ремонт, а что будет сейчас, сегодня?

— Bonjour, ma tante! Vous etez magnifique!

— А! Вот и льстецы пожаловали. Молодец, что итальянца с собой привѣл, Маркушка. Бонджорно, сеньор.

— Мадам, рак вам к лицу. Вы хорошеете, как по года.

— Ой, перестаньте бабку смешить. Садитесь. Сюда вот. А ты сюда. Дайте посмотрю на вас.

— Тётушка, — мы давно условились с Лилиенблум, что для меня она тётушка, никаких титулов и никакого имени-отчества, — вы и правда неплохо выглядите. Как прошла ночь?

— Славно, Марк. Спала как мёртвая.

Лилиенблум выглядела жалко. Из-под загорелой тонкой кожи проступал в подробностях череп. Можно было с лёгкостью представить её покойницей. Руки, высохшие и хрупкие, как у болезненного ребёнка. Седые волосы распущены — дурной знак. Филиппинка дремлет на стуле, опёршись о спинку хозяйского кресла, — видимо, ночью не спала.